

Андрей ПУЧКОВ

## **«ДВА СТОЛЕТИЯ» ДВУХ ПОЭТОВ О. Мандельштам и Андрей Белый**

*Ивану Кулинскому*

*Мандельштам — это зрелище, утверждающее  
оптимизм. <...> Он делает свое дело на ходу,  
бесстыдный и равнодушный к сплетням.*

Лидия ГИНЗБУРГ, 1933

Речь пойдет об одном литературном приключении простенького на первый взгляд словосочетания «два столетия». Простота эта действительно кажущаяся: хруст двух столетий на твоих зубах — жесткое хлёбово, заплечное чудо-юдо для показа потомкам. Поэты, взявшие эти два слова подряд, прекрасно отдавали отчет в семантической весомости пары. Одним был Осип Мандельштам (1891–1938), вторым Андрей Белый (Борис Бугаев, 1880–1934). Один употребил «два столетия» внутри ставшего программным стихотворения, другой вынес на картонную обложку первой книги трехтомных мемуаров. Случайна ли такая последовательность?

В первой декаде октября 1922 г. недавний молодожен Мандельштам, живший во флигеле Дома Герцена на Тверском бульваре, пишет «Век». Каждый помнит первую строфу:

Век мой, зверь мой, кто сумеет  
Заглянуть в твои зрачки  
И своею кровью склеит  
Двух столетий позвонки?..

Стихотворение сразу несколько раз подряд опубликовано: в журналах «Россия» (1922, № 4, с. 7) и «Красная новь» (1923, № 1, с. 47), в авторской «Второй книге» (М., 1923, с. 72–73) и через семь лет в «Стихотворениях» (М.; Л., 1928, с. 166–167) — последней прижизненной книге Мандельштама. Всюду — без последней строфы («Кровь-строительница хлещет / Горлом из земных вещей...»). Четыре прижизненных публикации это крупный частик, и читающей

аудитории «Век» трудно было не заметить, особенной такой читающей, как сами пишущие — судьбовно скрученные в жгут литераторы Серебряного века.

Андрей Белый в 1929-м, в год «великого перелома», начинает книгу так: «На рубеже двух столетий» — заглавие книги моей, предваряет заглавие другой книги — «Начало века». Но имею ли я право начать воспоминание о “начале”, не предварив “рубежом” его? Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа»<sup>1</sup>. Мысль ясна до прозрачности, очевидна до банальности, зажевана до оскомины. Правда, сейчас. Тогда, свидетельски свидетельствуя, Андрей Белый рассуждал в типологическом ряду известной двусмысленности. Для него «мы» — сверстники, некогда одинаково противопоставленные “концу века”; наше “нет” брошено на рубеже двух столетий — отцам; гипотетичны и зыбки оказались прогнозы о будущем, нам предстоявшем, в линии выявления его: от 1901 г. до нынешних дней; “наша”, некогда единая линия ныне в раздросе себя продолжает; она изветвилась; и “мы” оказались в различнейших лагерях» итд.<sup>2</sup> Все здесь, начиная с заголовка, ладно и складно, корпусно. Но зачем в ряду «На рубеже двух столетий» слово «двух»? Нельзя ли, право, проще: «На рубеже столетий»? — ясно, что на рубеже трех или четырех — бессмыслица.

Пожалуй, Андрей Белый убоился оголенной пафосности слова «столетие», толщи смысловой его грандиозности, прочности — богатырски-славянской, будто «многоуважаемый шкаф». Так вызывает звуковой трепет фамилия Столетов (хотя может принадлежать и дураку: был такой советский министр просвещения): непреодолимо, как грузная дубовая мебель, которую задевая получаешь синяки. И Белому естественно потребовалось приопустить задранную к вершине веков читательскую голову, соударив — будто купейный вагон с пульмановским — нужное «столетие» с якобы с ненужным «два». «На рубеже двух столетий» звучит успокоительней, канареечней, чем звучало бы по-иерихонски: «На рубеже столетий». Андрей Белый служивым сюртуком числительного прикрывает имени существительного бархатный камзол.

Не то у Мандельштама. «Склеить столетий позвонки» не то же, что «склеить двух столетий позвонки». Если ряд столетий — родной брат «флейты-позвоночника» Маяковского (1915 г.)<sup>3</sup>, то позвоночник в «Веке» (*одном* веке)

<sup>1</sup> Андрей Белый. На рубеже двух столетий. — М., 1989. — С. 35.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> «Я сегодня буду играть на флейте. / На собственном позвоночнике»; «Но мне не до розовой мякоти, / которую столетия выжуют»; «Может быть, от дней этих, / жутких, как штыков острия, / когда столетия выбелят бороду, / останемся только / ты / и я, / бросающийся за тобой от города к городу» итд. По-моему, переключка между «Флейтой-позвоночником» и «Веком» в силу очевидности в удостоверении не нуждается.

Мандельштама, позвонки которого нужно склеивать кровью лирического героя, — не забавка, не музыкальный инструмент из семейства деревянных духовых (хотя «узловатых дней колена / нужно флейтой связать»), но сложная конструкция, *columna vertebralis*, причастная хордовым, которая обеспечивает подвижность, метафорически — возможность движения истории. В таком позвоночном ряду уточнение *двух столетий* необходимо, как водительский щелчок ремня безопасности: двух столетий, тех самых двух, на рубеже которых пощелкивает остеохондрозной солью твоя биография<sup>1</sup>. «Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зияния, и между мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива»<sup>2</sup>, — пишет в 1923-м невропаст<sup>3</sup> Мандельштам. «Статика, предвзятость, рутина, пошлость, ограниченность кругозора, — вот что я вынес на рубеже двух столетий из быта жизни среднего московского профессора; и в средней средних растворялось не среднее»<sup>4</sup>, — пишет в 1929-м Андрей Белый. У каждого из них свои нелады с осанкой:

Тварь, откуда жизнь хватает,  
Донести хребет должна,  
И невидимым играет  
Позвоночником волна.

---

Оставляю за кадром и программный мотив вывихнутого сустава в «Гамлете»: «The time is out of joint: O cursed spite, / That ever I was born to set it right» (Время вывихнуло сустав: о, проклятье, / Что я рожден поставить его на место), тем паче, что этот вопрос обстоятельно исследован А. Сергеевой-Клятис («Век вывихнул сустав...»: К теме «Мандельштам и Шекспир» // «Сохрани мою речь...» / Ред.-сост. И. Делекторская, О. Лекманов, Д. Мамедова, П. Нерлер. — М., 2008. — Вып. 4/2. — С. 587–592). Автор утверждает, что в переводе «Гамлета» Анны Радловой (изд. 1937 г.) слово «век», которое анафорически повторяется в этих строках дважды («Век вывихнут. О, злобный жребий мой! / Век вправить должен я своей рукой»), в подлиннике отсутствуя (у Шекспира — *time*), объясняется вероятной ориентацией на «век» в «Веке» Мандельштама.

<sup>1</sup> Никита Струве посчитал: «15 из 22 стихотворений 1921–25 годов нам представляют лирического героя из плоти и крови, погруженного в повседневность, в обыденность» (Струве Н. А. Осип Мандельштам. — Томск, 1992. — С. 168).

<sup>2</sup> Мандельштам О. Э. Шум времени // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 2 т. — М., 1990. — Т. 2. — С. 41.

<sup>3</sup> Невропаст (греч.) — кукловод; в Индии — сутрадхара.

<sup>4</sup> Андрей Белый. На рубеже двух столетий. — С. 41.

Словно нежный хрящ ребенка  
Век младенческой земли —  
Снова в жертву, как ягненка,  
Темя жизни принесли.

«Скажу заранее: 1901 год, первый год новой эры, встречали как новый, весьма немногие; для нас с Блоком он открыл эру зари, то есть радостного ожидания, ожидания размаха событий; большинство встретили этот год обычным аллегорическим завитком пожелания новогоднего счастья; щелкнула ровно в двенадцать бутылка шампанского; и — все; чего же еще?»<sup>1</sup>. Чего же? Наверно, воспоминаний: «Египетской марки», «Шума времени», «Феодосии», «Четвертой прозы», «Рубежа двух столетий», «Начала века», «Между двух революций», «Окаянных дней», «На берегах Невы», «На берегах Сены», «Некрополя», «Курсива моего» итд. И в каждом жужжит паяльной свечой: «Но разбит твой позвоночник, / Мой прекрасный жалкий век!» Межпозвонковая грыжа времени поэта грезит метамерными реакциями: оправдай меня ты, потому что больше никому. И «страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда»<sup>2</sup>.

Кажется, я увлекся в спортивном преследовании аллегории «два столетия», выводя решение задачи («случайно ли?») из практической плоскости (если такая возможна в искусствовиспытании) в метафизическую на манер той замшевой метафоры о Константине Леонтьеве: «он чувствует столетия, как погоду, и покрикивает на них»<sup>3</sup>. Мандельштам и Белый не покрикивали (якобы науськивая подморозить Россию, чтобы не гнила), — они разглядывали рубеж столетий как шарнир, который был устроен у них внутри так же, как у других — снаружи — календарями, курантами, чередой церковных праздников. Впрочем, в аккомодации большого времени рубеж столетий — не 1 января 1901 года. «Рубеж времен — начало Первой мировой войны, — писал С.С. Аверинцев. — Начинаясь, по слову Ахматовой, сразу открывшей в себе именно тогда силу плакальщицы, “не календарный — настоящий двадцатый век”»<sup>4</sup>. Может, и так, ведь и девятнадцатый век начался не сразу: 11 марта 1801 г. — убийством императора.

Белый-прозаик на авторском вечере в феврале 1933 г. объяснял слушателем: «кто меня читает глазами, летя по строчкам с быстротой курьерского по-

<sup>1</sup> Там же. — С. 41–42.

<sup>2</sup> Мандельштам О. Египетская марка. — Л., 1928. — С. 65.

<sup>3</sup> Мандельштам О. Э. Шум времени... — С. 48.

<sup>4</sup> Аверинцев С. С. Судьба и весть Осипа Мандельштама // Аверинцев С. С. Поэты. — М., 1996. — С. 233.

езда, а не произносит внутренне слово за словом, соблюдая показанные автором паузы, тот автора не поймет, сломав себе шею о ритм»<sup>1</sup>. Прочитаем, как просят: «На рубеже двух столетий» — хореический дактиль — или «Между двух революций» (третий том трилогии) — анапест.

Может, не стоит говорить, что Андрею Белому, когда он изготавливал заголовки к первому тому трилогии, пришел на память «Век» Мандельштама, стихотворение, которое он вполне мог не только помнить, но и прочесть если не давно (в «России», «Красной нови», «Второй книге», 1922–1923 гг.), то наверняка в томике «Стихотворений» (1928-й). Выше я постарался показать, зачем Белому нужны были именно «два столетия»; зачем они нужны были Мандельштаму — вроде тоже видно по семантическому гнезду, в котором живет «Век».

Едва ли Мандельштаму пришло на ум при встрече с Белым в Коктебеле летом 1933-го оспаривать «авторство» словосочетания «два столетия»: какое здесь авторство, какой там сервитут! Едва ли — далее — Белый сознательно «использовал» строчку из Мандельштама: после едкого отзыва о себе в эссе «О природе слова»<sup>2</sup>, после резчайшей рецензии на «Записки чудака» в «Красной нови» (1923, кн. 5, с. 399–400), этого грубейшего выпада против своей прозы<sup>3</sup>, после — наконец — исчезновения к началу 1930-х особых программных границ между акмеизмом и символизмом (не до того) Белый относился к Мандельштаму

---

<sup>1</sup> Андрей Белый. Программа «Вечера Андрея Белого» // Андрей Белый: Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. Сборник. — М., 1988. — С. 683.

<sup>2</sup> «Андрей Белый, например, — болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка только потому, что он нещадно и бесцеремонно гоняет слово, сообразуясь исключительно с темпераментами своего спекулятивного мышления» итд, будто нужно сообразовываться с чем-то еще? «Основной грех писателей вроде Андрея Белого — неуважение к эллинистической природе слова, беспощадная эксплуатация его для своих интуитивных целей» — тоже наказуемо? См.: Мандельштам О. Э. О природе слова (1921–1922 гг.) // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 2 т. — М., 1990. — Т. 2. — С. 176–177.

<sup>3</sup> Не должен поэт позволять себе так писать о другом поэте: «Это последовательное и карикатурное развитие худших качество ранней прозы Андрея Белого, грубой, отвратительной для слуха музыкальности стихотворения в прозе (вся книга написана почти гекзаметром), напыщенный, апокалиптический тон, трескучая декламация, перегруженная астральной терминологией вперемежку с стертыми в пяточок красотами поэтического языка девятисотых годов»; «Танцующая проза “Записок чудака” — высшая школа литературной самовлюбленности»; «прозаический недомерок» итд. (Мандельштам О. Э. Андрей Белый. Записки чудака. Т. II. Издание «Геликон». Берлин, 1922 // Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 2 т. — М., 1990. — Т. 2. — С. 292–294).

более или менее индифферентно: лето, безволошинский Коктебель, габриаки, море, безделье делали свою работу, и Белому с Мандельштамом делить по большому счету нечего. Малый счет: если Белый и постарался забыть Мандельштаму его погромно-ребяческую резвость в отношении оценки своей прозы, то их вакационное общение все равно было Белому в тягость. Хотя Н.Я. Мандельштам, верная памяти умученного супруга, и писала что «мужчин тянуло друг к другу, но жена Белого <Клавдия Николаевна Васильева (1886–1970)>, видно, помнила про старые распри и статьи О. М. и явно противилась сближению. Возможно, что она знала об антиантропософской и антитеософской направленности О. М., и это делало его не только чуждым, но и враждебным для нее человеком. Все же они встречались, хотя и украдкой, и с охотой разговаривали. В те дни О. М. писал “Разговор о Данте” и читал его Белому. Разговоры шли горячие, и Белый все время ссылался на свою работу о Гоголе, тогда еще не законченную.

Василиса Шкловская мне сказала, что из всех людей, которых она знала, наибольшее впечатление на нее произвел Белый. Я понимаю ее. Казалось, он весь пронизан светом. Таких светящихся людей я больше не встречала»<sup>1</sup>.

Однако, как давно выяснено Моникой Спивак, сам Андрей Белый в письме П. Н. Зайцеву (7.06.1933) из Коктебеля пишет о Надежде и Осипе Мандельштамах совершенно иначе: «Все бы хорошо, если б не... Мандельштаммы <sic> (муж и жена); и дернуло же так, что они оказались с нами за общим столиком (здесь столики на 4 персоны); приходится с ними завтракать, обедать, пить чай, ужинать. Между тем: они, единственно, из 20 с лишним отдыхающих нам *неприятны* и чужды»<sup>2</sup>. То же в письме Ф.В. Гладкову: «С Мандельштамами — трудно; нам почему-то отвели отдельный столик; и 4 раза в день (за чаем, за обедом, 5-часовым чаем и ужином) они пускаются в очень “умные”, нудные, витиеватые разговоры с подмигами, с “что”, “вы понимаете”, “а”, “не правда ли”; а я — “ничего”, “не понимаю”; словом М<андельштам> мне почему-то исключительно неприятен; и мы стоим на противоположных полюсах (есть в нем, извините, что-то “жуликоватое”, отчего его ум, начитанность, “культурность” выглядят особенно неприятно); приходится порою бороться за право молчать во время наших тягостных тэт-а-тэт’ов»<sup>3</sup>. «В своем коктельском дневнике, — указывает М. Л. Спивак, — Белый написал о соседях по столику нечто столь резкое, что его вдова сочла за благо уничтожить этот фрагмент»<sup>4</sup>. В том же настроении

<sup>1</sup> Мандельштам Н. Я. Воспоминания. — М., 1989. — С. 145.

<sup>2</sup> Цит. по: Спивак М. Л. Андрей Белый — мистик и советский писатель. — М., 2006. — С. 325.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Там же. — С. 438–439.



Елизавета Кругликова. Андрей Белый (слева) и Осип Мандельштам (справа).

Портреты из книги Е. С. Кругликовой «Силуэты современников. Т. 1. Поэты» (М.: Альциона, 1921)

вспоминал Анатолий Мариенгоф: «Администрация нашего Дома творчества... <...> посадила их в столовой за один столик. Доброе намерение совершенно испортило обоим лето. Ложноклассическая декламация Осипа Эмильевича и невероятное произношение итальянских слов, слов Данте и Петрарки<sup>1</sup>, ужасно раздражало Андрея Белого. Мандельштам, как человек тонко чувствующий, сразу все понял. И это, в свою очередь, выводило его из душевного равновесия»<sup>2</sup>. Олег Лекманов комментирует: Мариенгоф «очень точно изобразил нервную реакцию Андрея Белого на постоянное соседство с мандельштамами, по понятным причинам не указав только, что просоветски настроенного пожилого писателя не могли не выводить из себя Мандельштамовские крамольные “подмиги”. Но относительно Мандельштама Мариенгоф ошибся: Осипу Эмильевичу, по всей видимости, казалось, что взаимоотношения между ним и Белым скла-

<sup>1</sup> Анна Ахматова: «он только что выучил итальянский язык и бредил Дантом. “Божественную комедию” читал наизусть страницами» (Морозов А. А. Примечания // Мандельштам О. Разговор о Данте / Послесл. Л. Е. Пинского. — М., 1967. — С. 71).

<sup>2</sup> Лекманов О. А. Осип Мандельштам: Жизнь поэта. — 3-е изд., доп. и перераб. — М., 2009. — С. 274.

дываются как нельзя лучше. С течением времени эта мандельштамовская иллюзия только укреплялась. В черновиках к “Разговору о Данте” Мандельштам ссылается на Белого как на Б.Н. Бугаева, то есть как на частное лицо, как на своего личного знакомого и собеседника»<sup>1</sup>.

О.А. Лекманов высказывает предположение, отчего Андрей Белый «трогательно» относился к Мандельштаму: «Когда-то Андрей Белый доброжелательно отнесся к стихотворным опытам начинающего Мандельштама — согласно воспоминаниям Владимира Пяста, он “пожаловал” будущему автору “Камня” “титул” “пэоннейшего из поэтов”. Затем Белый изменил свое отношение к Осипу Эмильевичу. Не последнюю роль здесь, вероятно, сыграл антисемитизм, которым были заражены многие старшие модернисты, в диапазоне, приблизительно, от Блока до Кузмина»<sup>2</sup>. Может, и так. Во всяком случае, по замечанию Карена Свасьяна, Мандельштам показался Белому (одному ли Белому?) каким-то «Паниковским» *sui generis*, со слабостью уже не к гусям, а к книгам из чужих библиотек<sup>3</sup> — мотив (том Данта, зачитанный у Волошина), тщательно затирившийся в мемуарах Надежды Мандельштам. «Непереносимый, неприятный, но один из немногих, может быть единственный (еще Андрей Белый) настоящий, с подлинным внутренним пафосом, с подлинной глубиной. Дикий, непокойный <...> После него все остальные — такие маленькие, болтливые и низменные», — писал о Мандельштаме в дневнике (10.02.1928) литературовед и переводчик Д.И. Выгодский<sup>4</sup> и, кажется, геологическое строение местности, ее рельеф нанесены на карту точно.

Оставим разрешение этих биографо-психологических несуразностей (кто прав: современники или жена?) записным мандельштамоведам. По большому счету после мандельштамовского цикла стихотворений «Памяти Андрея Белого» (1934–1935 гг.) это и не важно: кроме как о Белом, ни о ком другом Мандельштам столь проникновенно не писал. И сколько бы К.А. Свасьян, харизматический автор 1980–1990-х, ныне пытающийся гарцевать на престарелом антропософском коньке («теософия — вязаная фуфайка вырождающейся

<sup>1</sup> Там же. См. этот фрагмент: *Морозов А. А.* Примечания... — С. 79.

<sup>2</sup> Там же. — С. 275.

<sup>3</sup> *Свасьян К. А.* Андрей Белый и Осип Мандельштам // «Сохрани мою речь...» / Ред.-сост. И. Делекторская, О. Лекманов, Д. Мамедова, П. Нерлер. — М., 2008. — Вып. 4/2. — С. 312.

<sup>4</sup> *Мандельштам О.* Камень / Изд. подгот. Л.Я. Гинзбург, А.Г. Мец, С.В. Василенко, Ю.Л. Фрейдин. — Л., 1990. — С. 355. Это о Д.И. Выгодском — в шуточном сонете Мандельштама 1924–1925 гг.: «Семи вершков, невзрачен, бородат / Давид Выгодский ходит в Госиздат, / Как закорючка азбуки еврейской...»



религии»<sup>1</sup>), ни утверждал, что «сор, из которого выросли стихи памяти Андрея Белого, — рецензия на “Записки чудака”<sup>2</sup>, он в конечном счете оказывается прав, говоря, что тема отношений между Андреем Белым и Осипом Мандельштамом стоит под знаком *распавшейся связи времен*<sup>3</sup>. Вот о чем они оба говорят — один — склеивая позвонки двух столетий, другой, будучи девятью годами старше, — припоминая об их ломком рубеже.

Словосочетание «два столетия» это «сборная цитата»: «голоса, — сказал он <Мандельштам> как-то мне, — это как будто “сборная цитата” из всего, что я слышал”... (“Сборная цитата” — выражение Андрея Белого: каждого автора, говорил Белый, он представляет себе не в виде разрозненных и точных цитат, а в виде некой обобщенной “сборной цитаты”, представляющей как бы квинтэссенцию его мыслей и слов...)»<sup>4</sup>. Быть может, — о, сколь храброе предположение, — Андрей Белый Мандельштама (при всей личной неприязни к нему) воспринимал как поэта, пытающегося при помощи «дуговой растяжки» побороть сколиозную осанку истории («прирожденную неловкость Врожденным ритмом одолеть»<sup>2</sup>), которой оба они были свидетелями?

Мемуаристы, всяк на свой лад, показывали, что гениальность словесного творчества Андрея Белого меркнет перед гениальностью его личности. Из чтения мемуаров о Мандельштаме — даже не между строк — впечатление обратное: личность ни в какое сравнение не идет с написанным. Ну и что? Ничего: важно, что у обоих поэтов одно и то же «вдыхается, как воздух, выдыхается, как дух»<sup>5</sup>. Такое «отправление» — можно признать его почти физиологическим — настолько для них естественно, что нельзя говорить в отношении Белого и Мандельштама только об одном: о лжи против призвания, а значит против Бога.

«Ложь новаторства в том, — назидала Н. Я. Мандельштам, — что оно всегда скользит по поверхности (почему-то оно всегда новаторство формы, жертвующей мыслью) в поисках резко ощутимой новизны. (Даже Андрей Белый готов был взять заранее данную ситуацию и мысль <...> и новизну поднести в построении фразы, которая с необычайной быстротой стандартизировалась.) Такая новизна длится один короткий миг, потому что она не включает неповто-

---

<sup>1</sup> Мандельштам О. Э. Андрей Белый. Записки чудака... — С. 292.

<sup>2</sup> Свасьян К. А. Андрей Белый и Осип Мандельштам... — С. 312.

<sup>3</sup> Там же. — С. 303. Не забудем: Андрей Белый умер 8 января 1934 г., Мандельштама арестовали 13 мая и отправили в ссылку в Воронеж, 1 декабря разгневанный муж прикончил любовника жены — Кирова. Дальше зацвел прицельный террор.

<sup>4</sup> Мандельштам Н. Я. Воспоминания. — С. 60–61.

<sup>5</sup> Свасьян К. А. Андрей Белый и Осип Мандельштам... — С. 305.

римых элементов: соотношения мига и времени, личности и людей и воссоединения собственной мысли и переживания с общечеловеческим фондом»<sup>1</sup>.

Пожалуй, хорошо было рассуждать о веках и столетиях, сидя в сытой столовой Дома писателей (а на Украине голод). Наверно, не шла у Белого из головы фраза Мандельштама в рецензии на «Записки чудака» — «Если у человека три раза в день происходят колоссальные душевные катастрофы, мы перестаем ему верить»<sup>2</sup>. Наверно, Мандельштам силился забыть собственную гневливость в отношении текстов Белого, продиктованную ничем иным, как удивлением перед их необычностью<sup>3</sup> — как и тем, что смелость Мандельштамовой филиппики 1923 г. могла быть спровоцирована оценками прозы Белого наркомвоенмором СССР и председателем Реввоенсовета РСФСР Львом Троцким (тогда начальство иногда было интеллигентным: читало стихи) в программной для тех лет книге «Литература и революция» (М., 1923), где в разделе «Внеоктябрьская литература» Троцкий пишет: «Его ритмическая проза ужасна. Фраза повинуется не внутреннему движению образа, а внешней метрике, которая сперва вам кажется лишней, затем утомляет навязчивостью, под конец отравляет существование. Уже одно предчувствие того, что фраза закончится ритмически, вызывает острое раздражение как ожидание повторного скрипа ставен во время бессонницы. С шагистикой ритма идет у Белого параллельно фетишизм слова. <...> Белый ищет в слове, как пифагорейцы в числе, второго, особого, сокрытого, тайного смысла. Оттого он так часто загоняет себя в словесные тупики <...> Белый тщетно борется с пассивностью и трезвенностью в себе. <...> Белый — покойник, и ни в каком духе он не воскреснет»<sup>4</sup>. Троцкий мог знать статью Мандельштама «О природе слова», и его «высочайшая» оплеуха Белому была для Мандельштама как бы нежеланной индульгенцией за собственную писанину: «Захлебываясь в изощренном многословии, он не может пожертвовать ни одним оттенком своей капризной мысли и взрывает мосты, по которым ему лень перейти. В результате, после мгновенного фейерверка, — куча щебня, уны-

<sup>1</sup> Мандельштам Н. Я. Вторая книга. — М., 1990. — С. 400–401.

<sup>2</sup> Мандельштам О. Э. Андрей Белый. Записки чудака... — С. 293.

<sup>3</sup> Тем же, стоит думать, книги Андрея Белого задевали и Максима Горького, который в 1933-м, в не слишком высоколобой статье «О прозе», разбирая «Маски» Белого, возмущался, что, мол, у автора «муки слова» «не всегда вызываются требованиями мастерства, поисками силы убедительности его, силы внушения, а чаще знаменуют стремление подчеркнуть свою индивидуальность, показать себя — во что бы то ни стало — не таким, как собратья по работе» (*Горький М. О прозе // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. — М., 1953. — Т. 26. — С. 396*).

<sup>4</sup> Троцкий Л. Д. Литература и революция. — М., 1991. — С. 51–52, 54.

лая картина разрушения вместо полноты жизни, органической целостности и деятельного равновесия. Основной грех писателей вроде Андрея Белого — неуважение к эллинистической природе слова, беспощадная эксплуатация его для своих интуитивных целей»<sup>1</sup>. Как бы то ни было, эти и подобные наблюдения, сами по себе интересные, — из сферы внешней, из того читательского опыта (даже читательского опыта такого выдающегося читателя, как Мандельштам), который у каждого свой. М. А. Гаспаров убедительно, на мой взгляд, показал, что понятие *форма* для Андрея Белого не исчерпывается ритмом, а охватывает все уровни строения поэтического произведения — будь-то поэзия или проза. «Разумеется, между стихом и ритмической или рифмованной прозой можно выявить множество переходных форм, и тексты Белого тут дадут самый благодарный материал, но покамест работа по такому выявлению даже не начата <...> Стремление задать читателю ощущение единственной, неповторимой интонации, чтобы прочитал фразу Гоголя или строфу Белого не любым из нескольких возможных вариантов, а тем единственным, каким внутренне слышал ее автор, становится у позднего Белого всепробладающим <...> Когда сам Белый перешел от стиха к прозе и достиг в ней действительно фантастической выразительности слов и интонаций, то, чтобы гибкость этих интонаций была ощутима, ему пришлось для оттенения подстелить под них жесткий трехсложный метр: ритм без метра (точнее, без установки на метр) оказывался неощутим»<sup>2</sup>. Неощутим даже таким тонким человеком, как Мандельштам (что говорить о троцких).

Конечно, Белый как личность был крупнее Мандельштама как личности, и здесь говорить не о чем. Но ведь нам интересно другое: «два столетия».

Как бы ни относился к «свидетельским показаниям» Надежды Яковлевны (склонной к мистификациям), ее литературному чутью и вкусу нельзя не довериться. В чуть выше процитированном фрагменте ее «Второй книги», на мой взгляд, и содержится ответ на вопрос о случайности, с которого была начата эта статья: поскольку в творческом процессе случайность имеет неслучайный

---

<sup>1</sup> Мандельштам О. Э. О природе слова... — С. 176–177. Через несколько месяцев после смерти Белого, на Первом Всесоюзном съезде советских писателей (конец августа 1934 г.) не преминул пройти жесткой ветошкой по памяти ушедшего поэта Н. И. Бухарин, симпатизировавший Мандельштаму и поддерживавший его: «фетишизация слова достигла у него <Белого> поистине гималайских высот» (*Бухарин Н. И. О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР // Бухарин Н. И. Избр. тр.: История и организация науки и техники. — Л., 1988. — С. 238*).

<sup>2</sup> Гаспаров М. А. Белый-стиховед и Белый-стихотворец // Гаспаров М. А. Избр. тр.: В 3 т. — М., 1997. — Т. 3: О стихе. — С. 428, 432, 435–435.

характер, постольку можно полагать, что Андрей Белый, неслучайно воспользовавшись словосочетанием «два столетия» (как позднее: «две революции»), случайно попал в унисон с двумя столетиями в «Веке», незадолго перед тем перечитанном в «Стихотворениях» Мандельштама. Может, удивился, а может, рукой махнул. Эти два столетия у одного — важные, будто библейские единогого, у другого — нестрашные, как улыбочивые геральдические львы. Страшным для русского поэта и русской поэзии оказался весь XX в.: поэтов гноят за стихи, и это их высшая мера.

**Анотація.** Зроблено спробу простежити залежність між вживанням словосполучення «два сторіччя» у вірші Осипа Мандельштама «Век» (1922) і в заголовку першого тому мемуарної трилогії Андрія Белого «На зламі двох століть» (1929). Автор доходить висновку, що оскільки у творчому процесі випадковість має не випадковий характер, остільки можна думати, що Андрій Бєлий, не випадково скориставшись словосполученням «два сторіччя» (як пізніше: «дві революції»), випадково потрапив в унісон з двома століттями в «Веке», незадовго перед тим перечитаним у «Стихотворениях» Мандельштама.

*Ключові слова:* Осип Мандельштам, Андрій Білий, «два сторіччя».

**Аннотация.** Сделана попытка проследить зависимость между употреблением словосочетания «два столетия» в стихотворении Осипа Мандельштама «Век» (1922) и в заглавии первого тома мемуарной трилогии Андрея Белого «На рубеже двух столетий» (1929). Автор приходит к выводу, что поскольку в творческом процессе случайность имеет неслучайный характер, постольку можно полагать, что Андрей Белый, неслучайно воспользовавшись словосочетанием «два столетия» (как позднее: «две революции»), случайно попал в унисон с двумя столетиями в «Веке», незадолго перед тем перечитанном в «Стихотворениях» Мандельштама.

*Ключевые слова:* Осип Мандельштам, Андрей Белый, «два столетия».

**Summary.** The attempt to trace the connection between the “two centuries” sentence in the “Century” poem by Osip Mandelstam and in the title of the first part of “On the threshold of the two centuries” novel by Andrey Bely was undertaken. The author comes to conclusion that because in the creative process the chance has a causal character we can state that Andrey Bely used “two centuries” wording by purpose, by chance he came alongside with “two centuries” in “Century”, that appeared in “Poems” by Mandelstam.

*Keywords:* Osip Mandelstam, Andrey Bely, “two centuries”.